



<С. С. ДУДЫШКИН>

Стихотворения Н. Некрасова (Издание второе. С. Петербург. 1861 г. Два тома)

...Нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.
Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.
Его преследуют хулы,
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

Истина хотя и горькая, но несправедливая... по крайней мере, по отношению к г. Некрасову. И мы очень рады, что она несправедлива, рады за наше общество, за нашу литературу в настоящем случае и за г. Некрасова, потому что хотим здесь говорить о нем. Где в нашей литературе, например, он встретил «крики озлобления»? какие кружки общества «преследовали какого-нибудь сатирика хулами», когда —

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедовал любовь
Враждебным словом отрицанья?

Г. Некрасов это знал, и благо ему, что он это знал и крепко верил в «мечту высокого призванья», знал, что неправда, будто бы

...Каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.

Он знал, что ни умные, ни пустые люди не были готовы клеймить у нас сатириков и обличителей, несмотря на всевозможные дразги, и потому напрасно давал волю риторическому лиризму, будто

Со всех сторон его клянут,
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут
И как любил он — ненавидя!

Здесь речь идет об «обличителях толпы», и мы вступаем за наше общество, которое, от Кантемира и до наших дней, никогда не желало видеть своих любимых поэтов растерзанными и даже больше их любило, нежели сколько они стоили. Мы не говорим здесь о г. Некрасове, а вообще о сатириках... Наше общество — особенное общество. Оно все прощает поэту, как только он становится на его сторону, и навсегда отворачивается от него, как только он забудет это общество. Зачем же забывать эту благородную черту нашего общества, скажем больше, эту великую черту нашего народного характера, которую с восторгом признают все страдавшие за общество, и поэты и непоэты, кому как привела судьба? И потому мы считаем такое несчастье сатирических стихотворцев, как его воспевают г. Некрасов, напущенным просто из элегической вольности. Нет, нет! если кто должен любить наше общество, так именно сатирические поэты, именно за то, что общество наше незлопамятно, а природа русская способна к такому отрицанию, которое удивляет иностранцев. Есть ли у поэта «мечта высокого призванья» или нет ее, «проповедует ли он любовь» или делает вид, что проповедует любовь; есть ему во что верить или нет; любит ли он под видом ненависти или только ненавидит; проходит он тернистый путь или ездит в коляске по столичным улицам; велик ум его или невелик*, ничего народ не допытывается, ничего общество знать не хочет:

* См. стихотворение «Блажен незлобивый поэт...», где перечислены некоторые признаки сатирического поэта.

видит в сатирических стихах только ответы, отклики на свои горькие думы, врачевание на свои наболевшие раны и этими дорогими ранами прикрывает часто блестящую, но поверхностную наготу стиха. Тогда только, и только этим одним стих делается неотразимым и автор его «любезным» народу.

Кого общество и народ больше помнят: тех ли, кто за него страдал, или тех, кто эгоистически хлопотал только о своей славе? — вопрос в нашей жизни и истории не только праздный, но и несправедливый. Такого предположения и делать нельзя.

Блажен незлобивый поэт,
В ком *мало желчи*, много чувства (?)

.....
Ему сочувствие в толпе
Как ропот волн ласкает ухо.
Он *чужд сомнения в себе* (?) —
Сей пытки творческого духа,
Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.
Дивясь великому уму,
Его коварно не злословят,
И современники ему
При жизни памятник готовят¹.

Мы останавливаемся на этом стихотворении потому, что оно очень характерно для нашего времени, для наших понятий об искусстве и для нашей поэзии. Всем известно, что современники Пушкина именно тогда от него отвернулись, когда он сделался спокоен и бросил «желчь», заменив ее чувством. Следовательно, нужно было бы сказать наоборот: справедливость отдали Пушкину не современники, а потомство.

«Блажен незлобивый поэт...» Но где и кто из наших поэтов был незлобив? Гоголь, Лермонтов, Грибоедов? Нет. — Следовательно, Пушкин? По-видимому, так думает г. Некрасов. Он любил беспечность и покой? Он властвовал толпой?..

Что нужно для того, чтобы властвовать толпой? Неужто всегда истинная поэзия? и разве не бывает таких эпох, когда желчь заменяет чувство и «современники» готовят памятники не поэтам, а желчным стихотворцам при жизни их?

Сколько вопросов! И не считайте эти вопросы праздными. Они наши вопросы, вчерашние и сегодняшние. Пушкин жаловался на толпу —

г. Некрасов жалуется на толпу; Пушкин жаловался, что толпа не понимает искусство, — г. Некрасов жалуется, что толпа понимает только искусство; Пушкин требовал чувства — г. Некрасов требует желчи... какое странное потемнение и в такой короткий период времени! Здесь что-нибудь да не так. Понятия спутались, мы не понимаем сами себя и начинаем говорить загадки.

Однако ж наши загадки будут продолжаться на тему только что выписанного нами стихотворения. В нем целый трактат о поэзии, трактат новый, не проверенный критикой и основанный на новых началах — желчи. Начала эти, как и стихотворения г. Некрасова, успели утвердиться в нашей литературе, помимо критики, минуя ее привязчивые требования, и одной силою обстоятельств, силою напора их. В самом деле, где до настоящего времени оценка таланта г. Некрасова? Ее нет. Раздавались изредка в литературе похвальные отзывы о нем, на него возлагались надежды; «современники», нисколько не сконфуженные стихом г. Некрасова, что «заживо готовятся памятники только незлобивым поэтам», говорили: «Если бы да не обстоятельства, мы имели бы случай видеть нашего истинного поэта», и эти скромные отзывы «современников» о своем поэте заменяли все: критику, похвалу, скромность и намек. Другие, приведенные в негодование намеками, старались отнять всякие достоинства у г. Некрасова... Мы не будем делать ни того, ни другого, а с благодарностью возьмем то, что он предлагает нам прекрасного, и укажем на то, что, по нашему мнению, есть произведение одной желчи — нового принципа в поэзии, которого мы не признаем (мы староверы и признаем «чувство»), или что составляет сухой перечень «хороших мыслей», по мнению современников, но, по нашему мнению, не одно и то же, что поэзия.

По нашему мнению, в стихах г. Некрасова много дорогого для каждого русского, кто пятнадцать лет, день за день, переживал и трудные, и улыбающиеся дни нашей пестрой жизни. Чего-чего мы не видели в эти пятнадцать лет, чего не пережили, каких надежд не хоронили!

Я молод, молод был тогда!
Лукаво жизнь вперед манила,
Как моря вольные струи,
И ласково любовь сулила
Мне блага лучшие свои...² —

говорит г. Некрасов. С тех пор многое переменялось:

Склонила Муза лик печальный
И, тихо зарыдав, ушла...

Но, перечитывая два томика стихотворений г. Некрасова, заменившие один том, изданный в 1856 году и быстро исчезнувший из продажи, мы вновь остановились на тех прекрасных, свежих произведениях, в которых еще желчь не вступала в права чувства, а обличение — в права искусства.

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Все лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок;
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок...³

Если не ошибаемся, стихотворение это относится к первым, полным свежести произведениям г. Некрасова и напоминает нам времена «Петербургского сборника», или начала «Современника» 1847 года, когда еще Белинский правил русской литературой. Ему посвящено, так нам кажется, но уже долго спустя, следующее стихотворение:

Наивная и странная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шел к одной высокой цели;
Кипел, горел — и быстро ты угас!
Ты нас любил, *ты дружеству был верен* —
И мы тебя почтили в добрый час!
Ты по судьбе печальной беспримерен:
Твой труд живет и долго не умрет,
А ты погиб, несчастлив и *незнаем!*
И с дерева неведомого плод,
Беспечные, безопасно мы вкушаем.

Нам дела нет, кто возрастил его,
Кто посвящал ему и труд и время,
И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам ветренное племя...
И с каждым днем окружена тесней,
Затеряна давно твоя могила,
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проторила⁴.

Это горькое, но правдивое, хотя несколько и прозаическое, стихотворение многим покажется невероятным. Как могли относиться к Белинскому стихи, напечатанные выше курсивом, а между тем они вполне справедливы... были. Да, были, и, к счастью, теперь нельзя уже повторить:

И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам ветренное племя.

Но когда были напечатаны впервые эти стихи — до 1856 года, — имя Белинского *ни одного разу* со времени его смерти не было напечатано на страницах ни одного журнала. Кроме неприятной статьи г. Шевырёва, появившейся тотчас после смерти Белинского в «Москвитянине», да статьи Булгарина в «Северной пчеле» в том же тоне, литература, сочувствующая Белинскому, вынуждена была молчать⁵. Стихи г. Некрасова припомнили нам Белинского, который так радушно встречал каждый новый талант — в том числе и г. Некрасова.

Итак, потомкам ничего не говорило в то время о Белинском... *ветренное племя...* Нет, не ветренное племя. Помнит ли г. Некрасов, как в мае 1848 года, почти украдкой, пробиралась небольшая горстка людей по Лиговскому каналу, к Волкову кладбищу, за гробом?.. Эта горстка людей, запуганная, чуть не боялась сознаться, кого она хоронит. Молча и в безмолвии разошлась она... и навещала ли потом эту могилу, неизвестно. Вполне справедливы только следующие стихи:

Затеряна давно твоя могила,
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проложила...

Больше чем когда-нибудь, при воспоминании о Белинском и его могиле, в то время, мы бы сказали*:

* «Поэт и гражданин».

В ночи, которую теперь
 Мы доживаем боязливо,
 Когда свободно рыскал зверь,
 А человек бродил пугливо —
 Ты светоч истины держал*
 Рукою твердой, но для света
 Он благотворно не сиял...

 Дрожащей искрою впотьмах
 Он чуть горел, мигал, метался.

Темная завеса надолго пала на нашу жизнь. В этой темноте ничего не было видно; без света и жизнь была бесплодна, и все силы тратились на то, чтоб поддержать хоть под пеплом священный огонь. Наступила пустота в поэзии —

Ах! Песнею моей прощальной
 Та песня первая была!
 Склонила Муза лик печальный
 И, тихо зарыдав, ушла.
 С тех пор нечасты были встречи;
 Украдкой, бледная, придет
 И шепчет пламенные речи,
 И песни гордые поет;
 Зовет то в города, то в степи,
 Заветным умыслом полна,
 Но...

Но в это время песен не слышно было, хотел сказать г. Некрасов. Однако ж в этот промежуток, обнимающий большую половину первого тома стихотворений г. Некрасова, было написано много стихов. Мы оста-навливаемся с любовью над тремя: «В деревне», «Несжатая полоса» и «Забытая деревня» — три поэтические картины, волновавшие в то время наше сердце и до сих пор памятные нам... Мы их здесь приведем, потому что они стоят в параллели с тогдашним направлением всей нашей литературы, сделавшей крестьянский быт главным мотивом своих произведений, под влиянием «Записок охотника» г. Тургенева. То было время, когда литература в первый раз с *гуманной* точки зрения взглянула на этот быт. И этот-то гуманный взгляд, явившийся в поэтических очертаниях г. Тургенева, увлек всю литературу. Ему последовал и г. Некрасов.

* Мы извиняемся перед г. Некрасовым, потому что в то время не поэты держали этот светоч: у г. Некрасова в стихе речь обращена к желчному поэту.

<Далее полностью цитируются стихотворения Некрасова «В деревне», «Несжатая полоса», «Забывтая деревня». — Сост.>

Это был лучший мотив тогдашней поэзии, свежий, молодой и полный сил. Он впервые явился в поэтических очертаниях «Записок охотника», хотя и прежде появлялся у г. Григоровича, но как-то насильственно, заученно, на французский склад. Г. Тургенев, с свойственно ему способностью самыми легкими очертаниями лиц и природы указывать на глубокие поэтические черты крестьянского быта, имел влияние в этом отношении и на элегический (заметьте, не сатирический) тон этих произведений. А так как г. Некрасов решительно не художник, а только *лирик* там, где он может совладать со стихом, — то понятно, какую важную роль должен был играть для лирического поэта другой талант, сумевший осветить картину истинным, нефальшивым светом. Влияние это подтверждается еще следующим.

Мы помним появление Рудина, этого последнего из могиканов той западной образованности, которая так много принесла нам общих взглядов, человеческих чувств, борьбы за гуманные стремления, отвлеченную любовь к добру и родине.

Этот мотив, такой сильный у нас со времен Пушкина, под пером г. Тургенева получивший, как известно, новый колорит, нашел себе отклик и в г. Некрасове. Мы помним появление его поэмы «Саша» вслед за «Рудиным» и наше приятное изумление, когда мы в этой поэме нашли того же Рудина, только переложенного в стихи. Читатель, конечно, помнит, кто такой Рудин, и потому в характеристику его вдаваться здесь не станем. Сходство между ним и Агариным до того сильно, что даже выразилось не только в общих чертах, но и в мелочах. Так, например, Рудин хорошо и много говорит; Агарин, действующее лицо в поэме г. Некрасова, тоже хорошо и много говорит. Рудин умен, образован, говорит цветисто, но ни на какое дело не способен; Агарин тоже:

Это не бес, искуситель людской,
Это — увьи! — современный герой,
Книги читает да по свету рыщет —
Дела себе исполинского ищет,
Благо наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов,
Благо идти по дороге избитой
Лень помешала да разум развитый.

Г. Тургенев говорит о Рудине как о человеке, который, однако ж, сеял доброе семя, — и г. Некрасов то же говорит о своем Агарине.

Так, когда героиня поэмы, Саша, испугавшись желчных речей Агарина, отказалась от него, г. Некрасов говорит:

Благо теперь догадалась она,
Что отдаваться ему не должна,
А остальное все сделает время...
Сеет он все-таки доброе семя!..
Знайте и верьте, друзья: благодатна
Всякая буря душе молодой —
Зреет и крепнет душа под грозой.
Чем неутешнее дитяток ваше,
Тем встрепенется светлее и краше!
В добрую почву упало зерно —
Пышным плодом отродится оно!

Не правда ли, читатель, все мотивы знакомые и некогда постоянные в нашей литературе? Сходство поэмы г. Некрасова и романа г. Тургенева так велико, что даже мелочи поэмы напоминают роман, прежде прочитанный. Ум Рудина сильно действует на развитие Наташи — ум Агарина точно так же действует на Сашу; оба заставляют героиню влюбиться в себя, оба их бросают. Даже объяснение в любви происходит одинаково в обоих произведениях... Так талант г. Тургенева в то время вполне покорял г. Некрасова, и это лучше всего выразилось в превосходном начале поэмы. Оно несколько не гармонирует с другим мотивом произведений г. Некрасова, что читатель легко заметит. Оно противоречит ему. Вот это поэтическое начало:

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой,
Пахарь ли песню вдали запоем —
Долгая песня за сердце берет;

Лес ли начнется — сосна да осина...
Не весела ты, родная картина!
Что же молчит мой озлобленный ум?..
Сладок мне леса знакомого шум,

Любо мне видеть знакомую ниву —
Дам же я волю благому порыву
И на родимую землю мою
Все накипевшие слезы пролью!

Злобою сердце питаться устало —
Много в ней правды, да радости мало;

Спящих в могилах виновных теней
Не разбужу я враждою моей.

*Родина-мать! я душою смирился,
Любящим сыном к тебе воротился.
Сколько б на нивах бесплодных твоих
Даром не сгнуло сил молодых,*

Сколько бы ранней тоски и печали
Вечные бури твои ни нагнали
На боязливую душу мою —
Я побежден пред тобою стою!

Силу сломили могучие страсти,
Гордую волю погнули напасти,
И про убитую музу мою
Я похоронные песни пою.

Перед тобою мне плакать не стыдно,
Ласку твою мне принять не обидно —
*Дай мне отраду объятий родных,
Дай мне забвенья страданий моих!*

Жизнью измят я... и скоро я сгину...
Мать не враждебна и к блудному сыну:
Только что я ей объятья раскрыл —
Хлынули слезы, прибавилось сил.

*Чудо свершилось: убогая нива
Вдруг просветлела, пышна и красива,
Ласковой машет вершинами лес,
Солнце приветливей смотрит с небес.*

Мы особенно обращаем внимание читателя на эти стихи; на них мы будем указывать впоследствии, когда будем говорить о разнице между «желчью» и поэзией.

Теперь будем продолжать нашу сказку. Время шло, менялись обстоятельства, настала война...

Когда над Русью безмятежной
Восстал немолчный скрип тележный,
Печальный, как народный стон:
Русь поднялась со всех сторон,
Все, что имела, отдавала
И на защиту высылала

Со всех проселочных путей
Своих покорных сыновей.
Войска водили офицеры,
Гремел походный барабан,
Скакали бешено курьеры;
За караваном караван
Тянулся к месту яркой битвы —
Свозили хлеб, сгоняли скот.
Проклятья, стоны и молитвы
Стояли в воздухе...

Со всем тем, наше общество встрепенулось и почуяло как будто что-то новое. Когда мы геройствовали, собирали армии и ополчения, еще более собирали забытые воспоминания о бранной славе двенадцатого года, и многие, даже очень многие, поэты и прозаики пустились в воинственные песни псевдонародного содержания — г. Некрасов написал следующее маленькое стихотворение, которое нам нравилось более всех воинственных стихов:

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

Наконец, еще больше приближаясь к нашему времени, когда после войны всё, казалось, заговорило и зашевелилось, когда столица наша начала ораторствовать и появились надежды — в это время, в 1858 году, г. Некрасов написал следующее превосходное стихотворение:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, —
Там вековая тишина.

Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив.

Мы остановимся здесь, потому что во многих других стихах г. Некрасова не видим уже той тесной связи между жизнью и *поэзией*, которая составляет лучшую принадлежность всякого поэта; не видим дружного сочетания двух необходимых элементов, и преобладание одного, желчного, становится все выпуклее и выпуклее. Но нам приятно было вспомнить, вместе с стихотворениями г. Некрасова, и то недавнее, но безвозвратно ушедшее время, в котором мы многому уже не верим, так оно было безобразно в некоторых отношениях.

Рядом с стихотворениями, которые мы привели выше и которые, бесспорно, принадлежат к лучшим из всего того, что было написано в последнее время, рядом с этими стихотворениями у г. Некрасова постоянно шли такие, которые никак не хотелось бы приписать автору «Несжатой полосы», «Забытой деревни». Лица, казалось бы, те же, обстановка та же — а между тем стихотворения эти возмущали нас клеветой на русского человека, подделкой под русскую речь. Долго мы были в недоумении, пока «Песня Еремушки» не разъяснила нам сущности дела, не показала, что мы не совсем хорошо понимали некоторые стихотворения г. Некрасова.

Отсюда для нас сделался уже сам собою понятен и еще один недостаток — частая *поучительность* стихотворений. Поучительность — дело полезное, как всякий урок, но мы не хорошо понимаем, как уроки можно задавать стихами. Оказывается, что это можно делать при некоторых условиях. Но к поучительности стихов мы еще вернемся, а теперь перейдем к разъяснению того недоумения, о котором сказали выше.

Любовь к простому народу, казалось бы такая неподдельная, как мы ее видим в «Забытой деревне», полная той *элегической* силы, которая кладет на нее поэтический колорит, но не той *сатирической*, едкой, холодной любви, которая высиживается *умом* без участия сердца, — эта любовь к народу, казалось бы, есть господствующий мотив стихотворений г. Некрасова. Вот почему, без всякого сомнения, им сочувствуют и что дает им право на уважение. Этою стороною объясняется и едкая сатира на классы бездействующие, живущие на счет бедняка, унижающие его, помыкающие им. Мотив этот до того прост, до того обнажен в некоторых стихотворениях, что сомневаться в нем, казалось бы, нет никакой возможности. Тем лучше для автора, тем легче для критика. Однако ж мы хотели бы согласить с этим мотивом,

с этою любовью к народу те странные облики простонародья, которые перед нами будут следовать один за другим.

Вот первое стихотворение, «В дороге». Содержание его такое:

Скучно! скучно! Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку.
Небылицей какой посмеши
Или, что ты видал, расскажи —
Буду, братец, за все благодарен.

И ямщик ему рассказывает про свою женитьбу и про белоручку-жену, взятую им из господского дома:

*Слышь**, как щепка худа и бледна,
Ходит *тож* совсем через силу,
В день двух ложек не съест толокна —
Чай, свалим через месяц в могилу...
А с чего?.. Видит Бог, не томил
Я ее безустанной работой...
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, *тоись вот как, с охотой... (?)*
А, слышь, бить — так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку...

Это окончание напоминает нам неудачное окончание другой пьесы, прекрасной, но невыдержанной.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

В стихотворении «Извозчик», одном из самых плохих по стиху и по идее, мы читаем следующую поучительную мораль:

Парень был Ванюха ражий,
Рослый человек, —
Не поддайся силе вражей,
Жил бы долгий век.

* Частую и неудачную подделку под народный стих мы здесь обозначаем курсивом.

Полусонный по природе,
Знай зевал в кулак*
И прозвание в народе
Получил: вахлак!

и т. д. Этот Ванюха ражий зевал да зевал в кулак, наконец и заснул однажды, приехавши домой на ночь.

Спит и слышит стук в ворота.
Чу! шумят, встают...
Не пожар ли? *вот забота!* (?)
Чу! к нему идут.
Он вскочил, как *заяц сгонный*,
Видит: с фонарем
Перед ним хозяин сонный
С седоком-купцом.
«Санки где твои, детина?
Покажи ступай!» —
Говорит ему купчина —
И ведет в сарай...
Помутился ум у Вани,
Он как лист дрожал...
Поглядел купчина в сани
И, крестясь, сказал:
«Слава богу! слава богу!
Цел *мешок-то* мой!
Не взъщит за тревогу —
Капитал большой.
Понимаете, *с походом*
Будет тысяч пять...»
Над разиней поглумились
И опять легли,
А как утром *пробудились*
И в сарай пришли,
Глядь — и обмерли с испугу...
Ни гу-гу — молчат;
Показали вверх друг другу
И пошли назад...
Прибежал хозяин бледный,
Вся сошлась семья:
«Что такое?..» Ванька бедный —
Бог ему судья! —
Совладать с лукавым бесом,

* Народное остроумие.

Видно, не сумел:
 Над санями под навесом
На вожжах висел!
 А ведь был детина ражий,
 Рослый человек, —
 Не поддайся силе вражей,
 Жил бы долгий век...

Стихи Лермонтова

Не будь на то Господня воля,
 Не отдали б Москвы.

на которые «Ванька» служит как бы пародией, еще менее понятной делают эту «народную» пьесу. Что хотел сказать г. Некрасов об этом простом народе, который с досады, что не украл чужих денег, повеситься готов? Ведь другого смысла тут не прищете. Подобное отношение к народу, наряду с филантропией, составляет тот неразрешимый для нас контраст, который как-то больно режет глаза в стихотворениях г. Некрасова.

Следующее стихотворение... Мы не понимаем, как не выбросил его из своего «сборника» сам г. Некрасов, исключивший из него, например, «Колыбельную песню». Мы его перепечатываем здесь все:

— Так служба! сам ты в той войне
 Дрался — тебе и книги в руки,
 Да дай сказать словцо и мне:
 Мы сами дельвали *штуки**.
 — Как затесался к нам француз,
 Да увидал, что проку мало,
 Пришел он, помнишь ты, *в конфуз* (?)
 И на попятный тотчас драло:
 Поймали мы одну семью,
Отца да мать с тремя щенками,
Тотчас ухлопали мусью,
*Не из фузеи** — кулаками!*
 Жена давай вопить, стонать;
 Рвет волоса — глядим да тужим!
Жаль стало — топорищем хватъ —
 И протянулась рядом с мужем!
 Глядь, дети! Нет на них лица:
 Ломают руки, воют, *скачут* (?)

* «Да, мы видали виды» — Пушкина.

** Тонкие черты народного говора!

Лепечут — не поймешь словца —
И в голос, беденькие, плачут.
Слеза прошибла нас, ей-ей!
Как быть? Мы долго толковали,
Пришибли бедных поскорей
Да вместе всех и закопали...
— Так вот что, служба! верь же мне
Мы не сидели сложа руки,
И хоть не бились на войне,
*А сами дельвали штуки*⁶.

И эта история рассказывается развязным, шутливым голосом, как «Гусар» Пушкина рассказывал о чертовщине на Лысой Горе в Киеве, приговаривая: «А мы видали виды»! Есть разница в сюжете, и есть оттенки народного характера и в том и в другом стихотворении. Развязно рассказать эту ужасающую картину 1812 года, рассказать в том смысле, что убить «эту гадину» — француза нам ничего не стоит... что это такое? Были ужасающие сцены 1812 года, мы их знаем; но они были следствием неслыханного опустошения целого края, ужасающей нищеты, холода, голода и войны, сцены, подобные сценам голода, описанным Байроном... Но эти сцены у Байрона понятны. Они наступают в то время, когда и рассудок помутится, и чувство исчезнет в человеке, в те немногие страшные минуты, которые редко достается переживать человечеству... Г. Некрасов все это устранил, и таким образом зверство русского мужика вышло наголо, как неслыханное чудовище природы, которое только приводит в ужас.

А вот, например, такое понятие о русском крестьянине, как оно высказано в стихотворении «Вино»:

1

Без вины меня соцкий посек,
Сам не знаю, что случилось со мной?
Я не то, чтоб большой человек,
Да, вишь, дело-то было впервой.
Как подумаю, весь задрожу,
На душе все черней, да черней.
Как теперь на людей погляжу?
Как приду к ненаглядной моей?
И я долго лежал на печи,
Все молчал, не отведывал щей;
Нашептал мне нечистый в ночи
Неразумных и буйных речей,
И на утро я сумрачен встал,
Помолиться хотел, да не мог,

Ни словечка ни с кем не сказал
 И пошел, не крестясь, за порог.
 Вдруг: «Не хочешь ли, братик, вина?»
 Мне вослед закричала сестра.
 Целый штоф осушил я до дна
 И в тот день не ходил со двора.

2

Зазнобила меня, молодца,
 Степанида, соседская дочь,
 Я посватал ее у отца —
И старик да и девка не прочь (?).
 Да, знать, старости вплоть до земли
 Поклонился другой молодец,
 И с немилым ее повели
 Мимо окон моих под венец.
 Не из камня душа! Как шальной
 Я на улицу скок (?) из окна:
«Погоди, разочтуйся я с тобой»
 И для смелости выпил вина.
 Да попался Петруха, свой брат,
 В кабаке: назвался угостить —
 Даровому ленивый не рад —
 Я остался полштофа распить.
 А за первым другой чередом
 Подоспел; от души отлегло,
 Задремал я, обнявшись с Петром...
А наутро раздумье прошло...

3

Я с артелью взялся у купца
 Переделать все печи в дому,
 В месяц дело довел до конца
 И пришел за расчетом к нему.
Обсчитал, воровская душа!
 Я корить, я судом угрожать:
*«Так не будет тебе ни гроша!» **
 И велел меня в шею прогнать.
 Я ходил к нему восемь недель.
 Да застать его дома не мог,
 Рассчитать было нечем артель
 И меня, *слышь (?)*, потянут в острог...

* Сказал купец, подразумевается.

Я на буйные умыслы скор.
«Пропадай!» — сам себе я сказал,
Побежал, притаился как вор,
У знакомого дома — и ждал.
Да прозяб, а напротив кабак,
Рассудил: *отчего не зйти?*
На последний хватил четвертак
Подрался — и проснулся в части...

Какое представление остается у вас об этом знаменитом русском молодце, который, наперекор всем народным песням, способен только *не делать подвигов?*.. Уж если г. Некрасову так мало известен русский быт, мы бы для этого посоветовали познакомиться хотя с волжскими разбойничьими песнями: может быть, они переменяли бы несколько его неутешительное понятие об апатии русского человека. Не забывайте, что он везде хочет совладать с чертами русского народного характера, а между тем видит в этом характере одну грубую сторону, одни отрицательные его черты. Почему же так упрямо ему не даются положительные стороны? Ведь народ совсем не то, что, например, приказные, обязанные всем своим существованием совершенно условному порядку вещей, административному распоряжению, начальнической воле; народ не есть что-то внешнее, которое так легко убивается обличительной литературой, если только эта литература способна кого-нибудь убить. Корни его глубже, и сущность его обширнее. Вот где эта сущность? Пусть покажет ее нам г. Некрасов. Только ведь прямое отношение к ней, понимание ее и изображение ее в истинном свете дает нам поэзию; всякое другое отношение ложно, потому что оно односторонне, исключительно.

Чувствовал это очень часто г. Некрасов и старался взглянуть глубже на предмет взглядом *художника*; но тогда перед ним вырастали новые недоумения... Вот, например, стихотворение «Влас», намалеванное не одним сатирическим размахом, не одною краскою. А между тем и оно...

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой...

Ходит он и собирает на божий храм.

Говорят великим(ий) грешником(к)
Был он прежде. В мужике
Бога не было; побоями
В гроб жену свою вогнал;

Промышляющих разбоями*,
 Конокрадов укрывал;
 У всего соседства бедного
 Скупит хлеб, а в черный год
 Не поверит гроша медного,
 Втрое с нищего сдерет!

Над этим скрягой-Власом грянул, наконец, гром, сказано в стихотворении. Влас заболел, и ему мерещилось в бреду видение:

Видел света преставление,
 Видел грешников в аду:
 Мучат бесы их (?) проворные,
Жалит ведьма-егоза (?)
Эфиопы — видом черные (?)
 И как углие глаза;

Крокодилы, змии, скорпии
*Припекают, режут, жгут**...*
Воют грешники в прискорбии,
*Цепи ржавые*** грызут.*
 Гром глушит их вечным грохотом,
 Удушает лютый смрад,
 И кружит над ними с хохотом
 Черный тигр-шестокрылат.
 Те на длинный шест нанизаны,
 Те горячий лижут пол...
 Там, на хартиях написаны,
 Влас грехи свои прочел...

Литература наша, с легкой руки Евгения Онегина и сна Татьяны, беспрестанно возилась с видениями. Ни один поэт не мог избежать этой чепухи; напротив, каждый считал своею обязанностью где-нибудь вклеить сновидение. Г. Некрасов попытался тоже представить видение... но уже сообразно требованию времени, *в народном духе*. И коснулся он в этом видении одного из важнейших вопросов жизни. Здесь говорится о будущем, о том, страшном будущем, о котором равно думали и философы, и простые люди. Но это будущее каждый решает по-своему. Неужто же в воображении русского человека совмещаются «ведьмы-егозы», «крокодилы», «скорпии», какой-то тигр шестикры-

* Вместо: разбойников. Выходит: укрывал конокрадов, промышленяющих разбоями.

** Крокодилы режут? Скорпии припекают?

*** В огне ржавые цепи.

лат, грешники, нанизанные на шесте, лижущие пол... и т. д. Конечно, если набирать в стих все, что придет в голову, то отчего ж не составить видение из таких представлений! Но если поэтическое представление должно иметь смысл (а мы полагаем, что оно действительно должно иметь смысл, если сам автор не без цели его сочиняет), то выбор картины должен быть, во-первых, *русским*, а во-вторых, *осмысливающим* народное *предание*. Неужели же это представление Власа о грешниках — русское? неужели оно осмысливает народные верования? Какой смысл, спрашиваем каждого, находит г. Некрасов в нем? Что за этим набором слов читаете вы в душе русского мужика? ничего! А между тем ведь оно написано для нас, и отнюдь не для Власа и ему подобных.

Не обходитесь так легко с народными верованиями, не позволяйте себе сочинять их: они важнее, нежели вы об них думаете. Вы считаете их бредом, глупостью и позволяете себе, не зная их, сочинять что угодно. Не так думали истинные поэты. Весь Дантов «Ад» создан на подобных верованиях. А в жизни того лица, которое вы сделали предметом вашего рассказа, они, эти верования, играют первостепенную роль; они изменили всю его жизнь, весь характер; он бросил все, стал нищенствовать и собирать на построение храма. И такую-то душевную драму г. Некрасов мотивирует подобным набором слов!

Роздал Влас свое имение.
Сам остался бос и гол (?)*
И собирать на построение
Храма божьего пошел.
С той поры мужик скитается
Вот уж скоро тридцать лет,
Подаянием питается —
Строго держит свой обет.

Этим и должен бы кончиться рассказ. Но автор нашел нужным растянуть его еще на целые семь строф, которые уже ровно ни к чему не ведут и ничего больше не объясняют. Так бывает всегда, когда мы не совладаем с главной идеей: мы стараемся дополнить ее частностями; но сколько частных ни перебирайте, они не заменят опущенного:

Сила вся души великая
В дело божие ушла:
Словно сроду жадность дикая
Непричастна ей была...

* Вместо «наг».

Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.
Нет ему пути далекого:
Был у матушки Москвы,
И у Каспия широкого,
И у царственной Невы.
Словом истины *евангельской*,
Собирая Богу дань,
Побывает и в *Архангельской**
Проберется и в Рязань...

Можно бы еще прибавить Кострому и Астрахань, Киев и Саратов, но все-таки дело бы от этого не выиграло.

На ту же тему, как и Влас, то есть не исключительно сатирическую, обличительную, но на поэтическую, в которой автор как художник старался выразить положительную сторону русского мира, сочувственную — г. Некрасовыми в последнее время написано еще несколько других стихотворений. Но результат везде один и тот же. Вот, например, «Крестьянские дети», стихотворение, написанное в 1861 г., следовательно, одно из последних. В нем автор хотел выразить свое сочувствие не к детям вообще, а именно к *крестьянским* детям; старался, кистью *художника*, дать поэтические краски этой беззаботной поре крестьянина, когда на свободе развивается его душа, его чувство и воображение, подстрекаемое рассказами прохожих, преданьями старины, уцелевшими в рассказах стариков, поверьями народными и самую жизнь на деревенском просторе, в лесу, в поле... Задача великая, которую уже пытались выполнить другие наши авторы, по отношению к детству людей образованных. И потому мы уже имеем от С. Т. Аксакова и гр. Толстого прелестные, поэтические рассказы в этом роде. Г. Некрасов задумал написать нечто подобное по отношению к *крестьянским* детям. Он не остановился перед трудностью задачи, да и зачем останавливаться, когда предмет кажется так прост!

Опять я в деревне. Хожу на охоту,
Пишу мои вирши — живетса легко.
Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко.

* Богатая рифма.

Проснулся: в широкие щели сарая
Глядятся веселого солнца лучи...
Чу! шепот какой-то... а вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз!
Я замер: коснулось души умиление...
Чу! шепот опять!

Первый голос

Борода!

Второй

А барин, сказали!

Третий

Потише вы, черти!

Второй

У бар бороды не бывает — усы.

Первый

А ноги-то длинные, словно как жерди.

Четвертый

А вона на шапке, гляди-тко, — часы!

Пятый

Ай, важная штука!

Шестой

И цепь золотая...

Седьмой

Чай, дорого стоит?

Восьмой

Как солнце горит!

Девятый

А вона собака — большая, большая!
Вода с языка-то бежит.

Пятый

Ружье! погляди-тко: стволина двойная,
Замочки резные...

Третий
(с испугом)

Глядит!

Четвертый

Молчи, ничего! постоим еще, Гриша!

Третий

Прибьет...

Испугались шпионы мои
И кинулись прочь: человека заслыша,
Так стаей с мякины летят воробы.

А рано испугались. Этакой характеристический разговор можно бы продолжить на целый лист печатный. Ведь они не говорили еще ничего о сапогах, о волосах, о зубах охотника, о хвосте собаки!... На эту тему можно было бы бесконечно писать... но ведь автор имел целию выставить здесь наблюдательность крестьянских детей, и полагая, что он достаточно развил ее перед читателем, продолжает уже от себя:

О, милые плуты! Кто часто их видел,
Тот, верю я, любит крестьянских детей;
Но если бы даже ты их ненавидел,
Читатель, как «низкого рода людей»*, —
Я все-таки должен сознаться открыто,
Что часто завидую им:
В их жизни так много поэзии слито,
Как дай Бог балованным деткам твоим.

* Нельзя сказать, чтоб выражение это было ново в нашей литературе. Но зато этот либеральный оттенок, вероятно, для многих покажется глубокомысленным.

Вот эту-то *поэзию* детства мы и посмотрим. Ее так редко старается уловить наш сатирический автор!

Счастливый народ! *Ни науки, ни неги*
Не ведают в детстве они.

Так начинается рассказ свой г. Некрасов о поэзии крестьянского детства. Нам странно показалось изгнание науки, как какого-то *несчастья*, из периода детства. Должно быть, автор понимает ее как-нибудь особенно, в виде розог, что ли, а не в виде естественной пищи развивающемуся детскому воображению. Но будем читать дальше.

Я дельвал с ними грибные набеги:
Раскапывал листья, обшаривал пни,
Старался приметить грибное местечко,
*А утром не мог ни за что отыскать**.
*«Взгляни-ка, Савося, какое колечко!»***
Мы оба нагнулись, да разом и хватъ
Змею! Я подпрыгнул: ужалила больно!
Савося хохочет: «Попался проста!»

Это, должно быть, очень смешная сцена! Но мы боимся перебивать рассказ и потому лучше будем делать беглые заметки в выносках... За впечатлениями детства в лесу быстро следуют впечатления прохожих:

У нас же дорога большая была:
Рабочего звания люди сновали
По ней без числа.
Копатель канав *вологжанин (?)*,
Лудильщик, портной, шерстобит,
А то в монастырь горожанин
Под праздник молиться катит(!).
Под наши густые старинные вязы
На отдых тянуло усталых людей.
Ребята обступят: начнутся рассказы
Про Киев, про турку, про чудных зверей.
Иной подгуляет, так только держися —
Начнет с *Волочка, до Казани (?)* дойдет***

* Тонкая черта детского возраста!

** Должно быть, говорит кто-нибудь из детей.

*** Почему это именно расстояние так важно — ни в какой детской литературе мы не отыскали.

Чухну передразнит, мордву, черемиса*,
 И сказкой потешит, и притчу вернет**:
 «Прощайте, ребята! Старайтесь найпаче
 На Господа Бога во всем потрафлять:
 У нас был Вавило, жил всех (по) богаче,
 Да вздумал однажды на Бога роптать, —
 С тех пор захудал, разорился Вавило,
 Нет меду со(от) пчел, урожаю (с земли),
 И только в одном ему счастье было,
 Что волосы из носу шибко росли...»

Для этого истинно диккенсовского юмора, кажется, и введены были прохожие в рассказ. Этой чертою наказания Вавилы и ограничивается вся картинность сказок и притч... Мы не говорим, чтоб требовали больше такого юмору — сохрани нас Боже! мы указываем только, что́ есть и чего нет. Затем следуют промышленные, так сказать, впечатления детей:

Рабочий расставит, разложит снаряды —
 Рубанки, подпилки, долота, ножи:
 «Гляди, чертенята!» А дети и рады,
 Как пилишь, как лудишь — им все покажи.
 Прохожий заснет под свои прибаутки,
 Ребята за дело — пилить и строгать!
 Иступят пилу — не наточишь и в сутки!
 Сломают бурав — и с испугу бежать.
 Случалось, тут целые дни пролетали, —
 Что новый прохожий, то новый рассказ...

Но так как этих рассказов нет, то мы полагаем и покончить это описание крестьянских детей. Что пользы в таких стихах:

— Домой, ребяташки! обедать пора. —
 Вернулись. У каждого полно лукошко,
 А сколько рассказов! Попался косой,
 Поймали ежа, заблудились немножко
 И видели волка... у, страшный какой!
 Ежу предлагают и мух, и козявок,
 Корней *молочко* ему отдал свое —
 Не пьет! Отступились...

* Почему же в таком загоне евреи, малороссы, белорусы, татары и проч., и проч.?

** Эти-то сказки и притчи мы и хотели бы знать. Как умел ими воспользоваться г. Островский в «Грозе», когда рассказывает поэтические видения Катерины и легенды старух-паломниц!

Скучно и длинно знакомить читателя с этою бессвязною рифмованною повестью, в которой на каждом шагу видишь желание передать поэзию того, чего не знает автор, или чему не сочувствует. Любовь к делу выражается не общими местами и фразами, не банальными рассуждениями, а самым мелочным, подробным описанием. Что любишь — то дорого и ни малейшая черта любимого предмета никогда не ускользает. Чего не любишь, или прикидываешься, что любишь, там должно торопиться скорей к рассуждениям. Так делает и г. Некрасов. И хорошо делает. Там, по крайней мере, язык готов, рифмы заучены и потому послушны, филантропия выработана учеными книгами и журнальными статейками — следовательно, нечего опасаться, что ошибешься в краске, не доскажешь того, что другие сказали. Таким образом, в этом же самом стихотворении мысль, выраженная просто, как мораль из прописи, гораздо сноснее для чтения:

Однако же зависть в дворянском дитяти
Посеять нам было бы жаль.
Итак, обернуть мы обязаны к стати
Другой стороною медаль.
Положим, крестьянский ребенок свободно
Растет, не учась ничему,
Но вырастет он, если Богу угодно,
А сгибнуть ничто не мешает ему.
Положим, он знает лесные дорожки,
Гарцует верхом, не боится воды,
Зато беспощадно едят его мошки,
Зато ему рано знакомы труды...

Так проще и лучше, г. Некрасов! Не беритесь за то, что требует, кроме мозгового раздражения, еще и... ничтожной вещи — любви, неподдельной любви и художнического таланта, а не вычитанной из хороших, впрочем, книг, может быть, случайной в ваших произведениях. Доказательством может служить то же стихотворение. В нем есть удавшаяся вам картинка мальчика, в отцовской одежде, везущего дрова из лесу. Но посмотрите, как нейдет к этой картинке ваша хорошая мораль, как она плавает по верху этой картинке, точно масло над водой...

Так не даются поэтические картины тому, кто с одною наперед заданною целию подходит к ним. Что-нибудь одно: или преднамеренная идея, которую вы силой навязываете быту, или любовь к нему, которая создает неуловимые отношения ко всему окружающему, доступные одному поэту. На этом пробном осёлке вы можете лучше всяких фраз пробовать и силу таланта, и искренность чувства. Посмотрите, какую

картину создало одно мозговое раздражение — невольно еще хотим привести один пример — что в ней русского: где язык народный? где хоть один удачный стих? Где, наконец, разговор, хоть сколько-нибудь рисующий быт — не говорим уже поэтический? Посмотрите на «Знахарку», это уродливое произведение, превосходящее даже «Деревенские новости» своею слабостью в литературном отношении. А между тем г. Некрасов очень едко хотел подтрунить над невежеством крестьянина:

Знахарка в нашем живет околке:
На воду шепчет; на гуще, на водке,

Да на каких-то гадает травах.
Просто наводит, проклятая, страх!

Радостей мало — пророчит всё горе;
Вздумал бы плакать — наплакал бы море,

Да — Господь милостив! — русский народ
Плакать не любит, а больше поет.

Молвила ведьма *горластому парню*:
«Эй! угодишь ты на барскую псарню!»

И — поглядят — *через месяц всего*
По лесу парень орет «го-го-го!» (?)

Дяде Степану сказала: «*Кичишься*
Больно ты сивкой, а сивки лишишься,

Либо своей голове пропадать!» (?)
Стали Степана рекрутством пугать:

Вывел коня на базар — откупился!
Весь околодок колдунье дивился.

«*Семка! и я понаведаюсь к ней!*—
Думает старый мужик Пантелей:

Что ни предскажет кому: разоренье,
Убыль в семействе, глядишь — исполненье! (?)

*Черт у ней, что ли, в дрожжах-то сидит?..» (!!)**
Вот и пришел Пантелей — и стоит,

* Это равняется только остроте: «из носу волос растет».

Ждет: у колдуньи была уж девица,
Любо взглянуть — молода, полнолица,

Рядом с ней парень — дворовый, кажись,
Знахарка девке: «Ты с ним не вяжись!

Будет твоя особливая доля:
Милые слезы — и вечная воля!»

Дрогнул дворовый, а ведьма ему:
«Счастью не быть, молодец, твоему.

Всё говорить?» — «Говори!» — «Ты зимою
Много потерпишь, дойдешь до запою,

Будешь небритый валяться в избе*,
Чертики прыгать учнут по тебе,

*Станут глумиться, тянуть в преисподню:
Ты в пузырьчек наловишь их сотню,*

Станешь его затыкать...» (!!!)

Пантелей

Шапку в охапку — и вон из дверей.

К чему это написано, и что это такое? Что за смысл? Что за народность? А ведь автор имел претензию в эпическом, спокойном рассказе нарисовать сцену ворожбы... Молодые гадают о своей судьбе, а им колдунья сулит «пузыречек с чертенятами» — истинно гоголевский юмор! И какая прелесть простого рассказа, отрывчатого до того, что даже русский не поймет, в чем дело... Вот как казнится насмешка над народным бытом! Тут всякий юмор, всякая сатира показывает только одно бессилие автора, который и хотел бы унижить то, что ему неприятно, да не дается в руки! Это ужасная казнь, которая всегда должна следовать за неправильным отношением к предмету. Выходит безобразие, вместо сатиры, и падает всюю тяжестью на самого автора. Как ложь в науке, происходящая от софизмов, уничтожается доказательствами, основанными на фактах, так в искусстве поэтическая истина сама за себя мстит в стихе, если она обезображена. Она мстит за свое унижение тем, что не дает автору истинных красок, прячет предмет от глаз его. И отчего у того же самого автора, когда он подходит к другому предмету, к предмету, который он любит, к русской *природе*, которую

* Начинаются истинно народные стихи.

он любит без желчи теоретика, а с любовью русского, вдруг являются яркие картины, стих делается плавлен, чувство выходит из общих фраз и заменяет их живыми красками? За примером недалеко ходить: вот воспоминание одного из «Несчастных» о той же России:

Его пленяло солнце юга —
 Там море ласково шумит,
 Но слаще северная вьюга
 И больше сердцу говорит.
 При слове «Русь», бывало, встанет —
 Он помнил, он любил ее,
 Заговоривши про нее —
 До поздней ночи не устанет...
 Наступит ли вечерний час —
 Внимая бури вой жестокий,
 «Теперь, — он говорил, — у нас, —
 На нашей родине далекой,
 Еще тепло... Закат горит,
 Над божьим храмом реют птицы,
 Домой идут с работы жницы;
 Въезжая на гору, скрипит
 Снопамы полная телега;
 Играя, колос из снопа
 Хватает сытый конь с разбега
 И ржет. За ним бредет толпа
 Коровушек. Стемнело небо,
 И смолкли вдруг работы дня;
 Ложится пахарь без огня,
 И распростерли скирды хлеба
 Свою хранительную тень
 Вокруг уснувших деревень.

В другом месте, говоря о наших городах, он разом схватывает их жизнь следующими тремя превосходными стихами:

Там время тянется сонливо,
 Как самодельная расшива
 По тихой Волге в летний день...

Или вот еще одна маленькая, поэтическая картинка нашей деревенской природы:

Ямщик свистит
 Лугов... родной, любимый вид!

Там зелень ярче изумруда,
Нежнее шелковых ковров,
И как серебряные блюда
На ровной скатерти лугов
Стоят озера...

Скажите: отчего эти стихи так удаются г. Некрасову, что не веришь, будто он же писал «Знахарку», «Власа», «Крестьянских детей»?

Что за тайна?..

Нам бы следовало теперь рассказать поэму «Коробейники». Но что же она нам докажет нового? Опять ту же самую истину, которую мы уже вывели из «Власа» и из «Крестьянских детей»: стоит ли повторять один раз доказанное? А если кого не убедили до сих пор наши слова, того, конечно, они не убедят, если мы даже передадим точно также неудавшееся стихотворение, где опять автор пытался создать что-нибудь положительное. Ничего не удалось! И эта черта весьма неутешительная для поэта, который «ненавидит любя», у которого под сатирой кроются слезы. Что же любит он, когда положительные краски так трудно даются ему? — Он любит абстракт народа, а не самый народ.

Мы полагаем, что «Коробейники» для того только и напечатаны, чтоб приделать к ним то замысловатое посвящение, которое, конечно, очень многих прельстит как выражение истинно народных чувств автора. Но нас и оно не обманывает. Оно блестяще только своим заглавием:

«Другу-приятелю *Гавриле Яковлевичу* (крестьянину деревни Шоды, Костромской губернии)».

Знаете ли, почему мы и это посвящение считаем внешним лоском и не верим ему? Многое бы мы могли сказать здесь... очень многое. Конечно, не с точки зрения какого-нибудь аристократического клуба повели бы мы наши рассуждения о русском крестьянине — мы мало знаем эту точку зрения и предоставляем с этой стороны обсуживать вопрос людьми более компетентным; мы вам скажем — с вашей же точки, народной: как это вы в таком прекрасном посвящении не нашли ничего лучшего сказать русскому крестьянину, кроме следующих слов:

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал:
Что строчишь карандашом?

Почитай-ка! Не прославиться,
Угодить тебе хочу.
Буду рад, коли понравится,
Не понравится — смолчу.

Не побрезгуй на подарочке!
 А увидимся опять,
 Выпьем мы по доброй чарочке
И отправимся стрелять.

А ведь эти слова очень характерны — для «посвящения»!

После этого стихотворения, то есть «Куробейников», «Посвящения» к ним, мы полагаем, можно возобновить в памяти читателя и «Песню Еремушке».

«Стой, ямщик! жара несносная,
 Дальше ехать не могу!»
 Вишь, пора-то сенокосная —
 Вся деревня на лугу.

У двора у постоялого
 Только нянюшка сидит,
 Закачав ребенка малого,
 И сама почти что спит;

Через силу тянет песенку
 Да, зевая, крестит рот.
 Сел я рядом с ней на лесенку,
 Няня дремлет и поет:

«Ниже тоненькой былиночки
 Надо голову клонить,
 Чтоб на свете сиротиночке
 Беспечально век прожить.

Сила ломит и соломушку —
Поклонись пониже ей,
Чтобы старшие Еремушку
В люди вывели скорей.

В люди выдешь, все с вельможами
Будешь дружество водить (!),
 С молодыми да с пригожими
Будешь с девками шалить.*

И привольная, и праздная
 Жизнь покатится шутя...»
 Эка песня безобразная!
 — Няня! Дай-ка мне дитя!

* Экое безобразие! Это мать поет!..

«На, родной! да ты откуда?»
— Я проезжий, городской.
«Покачай; а я покудова
Подремлю... да песню спой!»

— Как не спеть! спую, родимая,
Только, знаешь, не твою.
У меня своя, любимая...
Баю-баюшки-баю!

В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов (?),
Будь он проклят, *растлевающий*
Пошлый опыт(?) — ум глупцов!

В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно.

Будь счастливей! Силу новую
Благородных юных дней
В форму старую, готовую
Необдуманно не лей!

Что это такое? повторим еще раз. Нельзя достаточно налюбоваться на следующие стихи, обращенные к простому народу:

В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно.

Мы не верим собственными глазами, не верим, чтоб эти стихи могли выйти из-под пера посвятившего своих «Коробейников» одному из народа, из-под пера писателя будто бы «ненавидящего любя»! Как же мы поверим следующим словам, сказанным тем же г. Некрасовым:

«Во многом нас
Опередили иноземцы,
Но мы догоним в добрый час!
Лишь Бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней —
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.

Она не знает середины —
 Черна — куда ни погляди!
 Но не проел до сердцевины
 Ее порок. В ее груди
Бежит поток живой и чистый
Еще немых народных сил:
 Так под корою Сибири льдистой
 Золотоносных много жил.

Как в 1856 году еще мог написать это последнее стихотворение г. Некрасов, а в 1859 году он уже говорил, что «в нас нет ни одного человеческого зерна»? Игра ли слов в том и другом случае, теория ли тут виновата? Будь же проклята та теория, — скажем мы, перефразируя стихи г. Некрасова, — теория, которая из-за тумана отвлеченных представлений, не видит жизни, и в жизни нашего народа не видит ни одного плодотворного зерна! Она любит не народ, а свои абстрактные идеи, любит — себя. Было время, когда этакой стих не возмущал читателя; было время той слепоты, когда мы считали плодотворными только семена, посеянные людьми во фраках и мундирах, но эта слепота срезана давно, как нарост, как бельмо; было время нашего безостановочного коверканья перед народом, нашего ученого и литературного самодурства перед массой, с изумлением глядевшей на этих коверкавшихся господ, выведивших свои песни на разные лады, выкидывавших штуки на разные манеры; но время это безвозвратно ушло. Перед нами примеры, и очень недалекие примеры, хоть нынешнего же года, которые не позволяют нам так нагло обращаться с той массой, которая составляет фундамент нашего общества.

Баю-баюшки-баю...

Это напомнило нам другую колыбельную песню г. Некрасова былых времен — так мы называем ее потому, что она написана лет пятнадцать назад и некогда очень нравилась. А в эти пятнадцать лет много воды утекло! Ту, прежнюю колыбельную песню, мы не находим уже в этом собрании сочинений — и очень рады за г. Некрасова, если он ее выбросил. Там тоже мать, убаюкивая своего сына, пела:

Будешь ты чиновник с виду
 И подлец душой.
 Провожать тебя я выду
 И махну рукой!

В день привыкнешь ты картинно
Шею гнуть свою
Спи, *пострел*, пока невинный!
Баюшки-баю!

Тогда, мы помним, эта колыбельная песня, пародия на всеми повторяемую песню Лермонтова — ужасно нравилась. Мы тогда, как и четыре года назад, были в горячке и преследовали мелких взяточников, плутишек, и литература наша гордо высила голову, наказав квартального Н или секретаря земского суда NN. Мы тогда были отчаянные прогрессисты и аплодировали г. Некрасову за ту безобразную песню, где мать называет малютку «подлецом»... нет, не называет, а с удовольствием пророчит ему это блестящее положение. Но времена немного переменились: бедные чиновники оказались совсем не так виновными, как думала тогдашняя прогрессивная литература, человеческое чувство вступило в свои права — и отшатнулось с презрением от этой тупой ненависти, простительной человеку неопытному, но неизвинительной гуманисту, как тогда себя мы величали.

Теперь г. Некрасов, в «Песне Еремушке», нашел нужным возобновить забытый мотив и приложил его не к чиновнику — времена переменились, — а к бедному крестьянину. Только одна холодная, чисто рассудочная мысль, которой до других отправлений души нет дела, для которой чувство есть помеха наперед сделанному заключению о народе, как грубая обстановка есть тоже помеха филантропической идее — только такая мысль, готовая расширить свои крылья в кабинете и сжаться в иронию, когда перед нею предстанет жизнь — только такая мысль может сама себя успокаивать отвлеченными рассуждениями:

— Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай.

— С ними ты рожден природою —
Возледей их, сохрани!
Братством, Истиной, Свободою
Называются они.

— Возлюби их! на служение
Им отдайся до конца!
Нет прекрасней назначения*,
Лучезарней нет венца.

* Мы не обращаем уже внимания на то, что всё это не стихи, а проза.

Будешь редкое явление,
Чудо родины своей;
Не холопское терпение
Принесешь ты в жертву ей.

— Необузданную, дикую
К лютой подлости вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.

— С этой ненавистью правую,
С этой верою святой
Над неправдою лукавою
Грянешь божьею грозой...

Все бы это хорошо: и мысль хороша (мы разбираем это стихотворение как прозу, потому что это не стихи), и намерение автора никто не может порицать, только... только вот что. Мы вдруг, с позволения г. Некрасова, сделаем семимильный шаг восточных сказок — шаг назад и очутимся лицом к лицу с Жуковским, с романтизмом и его стихотворениями, где действуют *радость, труд, досуг, наука, мечтание* и проч. Вот одно из них, не скажем какое:

Дружись с *Уединеньем!**
Изнежен наслажденьем
Сын света незнаком
С сим добрым Божеством, —
Ни труженик унылый...
Ужасным привиденьем
Пред их воображеньем
Является оно...
Совет его угрюмый:
С толпой видений *Страх*,
Унылое *Молчанье*,
И мрачное *Мечтанье*
С безумием в очах,
И душ холодных мука,
Губитель жизни, *Скука*...
О! вид совсем иной
Для тех оно приемлет,
Кто зову сердца внемлет...
Как райское виденье
Себя являет их
Очам *Уединенье*.

* Все курсивы обозначены самим Жуковским.

Вблизи под сенью мирт
Кружится рой *Харит*
И пляску соглашает
С струнами *Аонид*;
Смотря на них, смягчает
Наука строгий вид,
При ней сын размышленья
С веселым взглядом *Труд*...
Там зрится *Отдых* ясный,
Труда веселый друг,
И сладостный *Досуг*,
И три сестры прекрасны,
Как юная весна:
Вчера — воспоминанье,
И *Ныне* — тишина,
И *Завтра* — упование...
И радуясь сливает
Неведомое нам
В магическое *Там*⁷.

Что ж общего, спросите вы, между этим стихотворением Жуковского и «Песнью Еремужке» (вторую ее половиною) г. Некрасова? и к чему оно приведено?

Ровно ничего нет общего. Жуковский писал это стихотворение в пору нашего так называемого романтизма, когда воспевались загробное *Там*, земное *Здесь*, когда *Меланхолия*, опершись на гробовую урну, рассуждала о суете всего земного, и видя вдали ужасную женщину *Смерть*, торопилась пригласить в свои объятия *Надежду*, что и *Там* есть иная *Любовь*, и проч., и проч., на этот лад. Теперь, как известно, мы воспеваем совсем иное. Так к чему же это сравнение? — снова спрашиваете вы. А вот к чему. Этот пример безвозвратно прошлого поучает нас следующему. Стихотворение Жуковского, которое мы привели, конечно, никто из нас не знает и не помнит до такой степени, что даже не уверен, Жуковскому ли оно принадлежит или кому-нибудь другому из наших романтиков. А между тем в нем высказаны некоторые принципы романтизма! И мы его не помним, тогда как «Сельское кладбище», «Орлеанскую Деву» и множество баллад помним... Отчего это? Следовательно, если б Жуковский воспевал романтизм только этими общими чертами, его бы никто не знал, он был бы давно забыт. Но Жуковский любил романтизм сердцем, душою, а не одним умом; поэтому его поэзия есть не что иное, как ряд баллад, романтических рассказов, в которых вы видите подробности, оттенки, частности романтической жизни. Идея, проведенная в средневековую жизнь, возбуждала

его сочувствие, и оттого баллады его имели такой громадный успех. Здесь уже читатель, надеемся, начинает видеть, что и приведенное стихотворение Жуковского имеет некоторое отношение к г. Некрасову. Во второй половине своей «Песни Еремущке» г. Некрасов высказывает общие идеи своих стихотворений; идеи эти для нашего времени безупречны. Но этого нам мало. Если г. Некрасов будет излагать свои мысли в стихах, то они будут забыты, как и мысли Жуковского. И притом, для этого существует проза. Нам нужно видеть эти мысли в жизни народа олицетворенными, нам нужно видеть не одну любовь к идее, но и в жизни к тому, что носит эту идею. Там же, где мы ее искали, как в «Крестьянских детях», в «Коробейниках», в «Власе», «Знахарке» — там мы находим одно черствое изучение этой жизни, одни поверхностные краски, и, наконец, высказано о ней суждение такого рода, что в ней нет ни одного *человеческого* зерна! Как же воспевать то, в чем нет и зерна человеческого! Эту дилемму мы предоставляем на рассмотрение г. Некрасова и думаем, что пример Жуковского не будет бесполезен и для него. Жуковский любил ту жизнь, которую воспевал, и за то ни одна черта его собственной жизни не противоречила его принципам, его сладким *надеждам, мечтаниям* и проч., и проч.

Ох, загубило нас фразерство в прозе, губит оно нас и в стихах! Губит тем, что не позволяет всмотреться в жизнь — низко-де очень, ниже нашего умственного уровня; загубило тем, что изгнало любовь из всех пор нашей души и заменило ее чванным рассуждением. А что сделаешь в поэзии с самыми лучшими рассуждениями, когда они только отталкивают так называемых поэтов от грубой действительности? Загубило тем, что заставило видеть в русском народе одну мерзость и запустение, такую мерзость, которая не мирится ни с какою филантропическою иностранною книжкою: мы любим мол абстракт народа, идею, а не самый народ. Загубило еще тем, что фразёрству трудно сделать шаг в жизнь действительную от фразы: все это чувствуют, и никто не может перешагнуть этой бездны. Загубило тем, что приучило к фейерверку фраз, который особенно несносен в стихах, ибо там он так же остается фразой, как и в прозе, да, сверх того, занимает не принадлежащее ему место — поэзии. Много нужно смирения будущему таланту, если он захочет быть поэтом: нужно отбросить в сторону весь блеск общих мест и дешевой филантропии — и изучать жизнь, любить ее и то только писать, что навеет эта любовь. То будет любовь не чиновницы, которая убаюкивает своего сына названием подлеца; то будет не любовь няни, которая учит дитя кланяться, ничего не делать и только играть с девками — то будет иная любовь... Она подметит в народе черты, которые мы с вами, г. Некрасов, не знаем; и на ее песню отзовется восторгом... не наша братья, писатели, а сам народ. Тот, кто это скажет народу, будет и сам любим народом.

После всего, сказанного выше, никому не покажется странным, что некоторые мотивы стихотворений г. Некрасова, казалось бы чисто русские, навеянные жизнью, на самом деле навеяны книгой, чтением других поэтов. В этих случаях г. Некрасову принадлежит честь окончательной отделки и во многих случаях превосходной. Таким образом поэма Крабба «Приходские списки»⁸ дала тему одной из лучших пьес г. Некрасова «Забятая деревня». Крабб, жалуясь на так называемый «абсентеизм» английских сквайров и от того происходящий вред в английской сельской жизни, так описывает забытый деревенский дом:

Затем умерла леди, обладательница соседнего замка;
 Ее благородные кости были *издалека привезены сюда для погребения*.
 Она жила в городе — замок стоял заброшенным.
 Черви ели пол, обои отвалились от стен,
 Огонь не зажигался под кухонной печальной решеткой,
 Свечи не мелькали в постоянно завешенных рамах окон,
 Ползающий червяк, из которого выходит летняя бабочка,
 Покойно свивал себе саван, в котором спит всю зиму;
над парадной кроватью
 Резко кричащая летучая мышь, неправильным полетом гналась
за своей убегающей подругой.
 От пустых служб угрюмо отходил прохожий бедняк
 И нищие уныло глядели на вечно замкнутую дверь дома.
 В маленькой отдельной комнате дома помещался управитель,
 В нее приходили мызники платить ренту и жаловаться;
Только жалобы не доходили до отсутствующей хозяйки:
Заботливый управитель не огорчал ими чувствительную барыню!
 Она не приезжала никогда взглянуть на запущенные аллеи,
Или выслушать шумные жалобы своих земледельцев.
 Что ей было у себя в замке делать, зачем следить за работами,
 Толковать о поле и дубах, заботиться о больных поселянах?
Она верила своему слуге, вполне полагалась на его честность
И думала, что ее заменяет человек честный и сострадательный?

Из этого описания Крабба у г. Некрасова вышло превосходное стихотворение, так начинающееся:

У бурмистра Власа бабушка Ненила
 Починать избёнку лесу попросила...

Г. Некрасов, оставив в стороне описание заброшенного господского дома — описание такое поэтическое в стихе Крабба, по отзыву английского критика Джеффри, переданное нами в подстрочном переводе

С каменных плит и со стен полутемных
Сыростью веет; на петлях огромных
Словно заплакана тяжкая дверь...
Нет богомольцев, не служба теперь —
Свадьба. Венчаются люди простые.
Вот у налоя стоят молодые:
Парень-ремесленник фертom глядит,
Красен с лица и с затылка подбрит —
Видно: разгульного сорта детина!
Рядом невеста: такая кручина
В бледном лице, что глядеть тяжело...
Бедная женщина! Что вас свело?

Вижу я, стан твой немного полнее,
Чем бы... Я понял! Стыдливо краснея
И нагибаясь, свой длинный платок
Ты на него натянула... Увлёк,
Видно, гуляка подарком да лаской,
Песней, гитарой да честною маской?
Ты ему сердце свое отдала...
Сколько ночей ты потом не спала!
Сколько ты плакала!.. Он не оставил,
Волей ли, нет ли, он дело поправил —
Бог не без милости — ты спасена...
Что же ты так безнадежно грустна?

Ждет тебя много попреков жестоких,
Дней трудовых, вечеров одиноких:
Будешь ребенка больного качать,
Буйного мужа домой поджидать,
Плакать, работать — да думать уныло,
Что тебе жизнь молодая сулила,
Чем подарила, что даст впереди...
Бедная, лучше вперед не гляди!

Так ли это? Остановимся здесь на несколько минут, потому что мы касаемся очень щекотливых отношений между женихом и невестой, которые, по *английскому судебному приговору*, обязательны для молодого парня и его обманутой невесты, обязательны до такой степени, что, по требованию родителей и по суду, они переходят в отношения мужа и жены, хотя бы от этого зависела вся *несчастливая будущность* женщины. То ли и по нашим обычаям, по нашим нравам и по закону? Закон наш в этом случае молчит, предоставив эту трудную задачу решению лиц заинтересованных; а эти лица могут ли ошибку, невольную ошибку казнить новым несчастьем, уже несчастьем на всю

жизнь? Вообще, кто знает отношения нашего народа в этих гибельных случаях, тот не скажет, чтобы он смотрел на это дело с пуританской точки зрения англичанина; тот знает, что наши обычаи удалили отсюда вторжение сурового закона, смотрят на эти случаи как на несчастье, но не делают из-за этого несчастными на всю жизнь лиц виновных. Поэтому-то и не в русских обычаях быть строго взыскательным в этих случаях: беда забывается и скорее падает позор на того, кто попрекает несчастных, нежели на самих когда-то виновных. Вообще мы, очень много трактуя о правах женщины, часто забываем в этих случаях высокогуманный взгляд нашего народа на этот щекотливый вопрос и судим его по Своду Законов.

Так после этого спрашиваем мы вместе с г. Некрасовым:

Бедная женщина? что вас свело?

Любви нет; ты стыдишься показаться перед народом; муж твой будет бить тебя и пьянствовать; кто требует твоего брака?

«По судебному приговору!» — отвечает Крабб. Но русский закон и русские нравы простого народа — положительно отсоветуют эту свадьбу.

К чему мы собираем все эти факты? К чему мы показали сначала те обстоятельства, которые шли рука об руку с стихотворениями г. Некрасова, а потом разобрали и показали смысл многих отдельных его стихотворений? К чему мы старались разъяснить различные мотивы, проходящие в обоих томиках стихотворений г. Некрасова?

К чему? Мы знаем, что явятся неистовые хвалители, которые, зажмурив глаза, заткнув уши, будут кричать г. Некрасову: продолжайте, идите так, как вы идете в последнее время, — и вы будете первым поэтом нашего времени. Все мы это знаем; но просим г. Некрасова не верить этим похвалам, сильным своим криком, но не внутренним сознанием. «Желчный писатель», скажем мы вашими словами, «не должен знать похвал».

Мы собрали факты из воспоминаний и из книжки г. Некрасова, чтобы показать, что у него постоянно идут, или, лучше сказать, шли до последнего времени, рядом, два направления: одно, в котором есть и непосредственное чувство, и одушевление, и поэзия, и лиризм — остаток прежнего поэтического мотива, прежней поэтической теории. Здесь он делается поэтом, насколько теория, проникнутая симпатией к народу, может сделать поэтом человека, не имеющего художнического таланта. Тут у него есть и сила негодования, и теплота увлечения.

Но рядом с этим направлением у него идет другое, в котором господствует теория, мертвая, холодная — и, грустнее всего, несправедливая. Вторая теория служит уже абстракту народа, а не народу.

Эта теория, состоящая вся из одного отрицания, прежде всего, не есть какая-нибудь новость в нашей литературе. Мы уже пережили одно отрицание — самое безотрадное, отрицание Гоголя времен «Мертвых душ» и стихотворений Лермонтова. То было отрицание до такой степени беспощадное, что не верится теперь. Если хотели что-нибудь побранить — называли русским; даже слово «русский» не говорили, а *российский*. Славянин — было бранным словом, и это отчаянное, ожесточенное отношение ко всему своему и вызвало и развило больше всего славянофильство. Пусть не думают, чтобы гоголевское или лермонтовское отрицание было мелко — нет, оно захватывало все стороны, только оно не выражалось так обнаженно, сухо, в голых сентенциях, как, например, у г. Некрасова. Таланты Гоголя и Лермонтова облекли беспощадное отрицание блестящими, в высшей степени поэтическими формами.

Но в первую пору отрицания — и это нужно заметить особенно — великие отрицатели, каковы Гоголь и Лермонтов, обращались преимущественно к тогдашнему нашему образованному, чиновному, высшему классу — и поэтому были правы. Дух времени быстро перенес поэтические замыслы на другую арену — крестьянин и работник сделались героями, и им-то посвятил свое сочувствие «поэт абстракта». Что же вышло у г. Некрасова? Он бросил камень в того, кого защищает теория! Вы, г. Некрасов, метили не туда, куда попали; и любовь к народу осталась у вас знаменем, за которым не следует никакого народа. Вы ополчились на то, что защищаете, — где же выход?

Это со стороны идеи отрицания г. Некрасова. Со стороны же формы нам не нужно будет много доказывать, что желчь и произведение ее, холодные, рассудочные, — не поэзия. Стихи г. Некрасова то же обличение, которое мы видим и в нашей прозаической литературе. В этом отношении г. Некрасов стоит ниже Щедрина и Печерского, потому что их сатира одета в формы рассказов; в них выведены лица; лица эти имеют характеры, под ногами у них есть почва — и обличительный разгул их авторов имеет дело с действительностью.

Поэзия — не сатира; сатира есть один из элементов поэзии, одна из сторон ее. Сатирик не видит в мире ничего, кроме ошибки, пустоты, ничтожества, — а кто скажет, что в обществе, которое бичует сатирик, ничего нет? Если в нем действительно ничего нет, то из ничего и не рождается ничего. Вот на основании каких причин ум никогда вполне не доверяет сатирику. Ум ищет для себя будущности и не находит ответа у сатирика. От этого сатирик, обличитель нравятся только в то время, когда и общество одинаково с ними раздражено,

когда сатирик удовлетворяет чувству минутного настроения. Пройдет это настроение — и сатира утрачивает все.

А между тем у г. Некрасова есть свой особенный прием в стихе, есть сила, ему одному свойственная; он был бы способен обнимать шире предмет, не одной стороною рассудка, но и чувства... Это нам говорят многие из стихотворений, выше нами приведенных. Следовательно, у г. Некрасова есть задатки того, чего требует истинная поэзия. Там, например, где он находился под влиянием г. Тургенева, там, где он описывает *не крестьян, а русскую природу*, которой сочувствует, там, наконец, где общественная пошлость вызывает у него непосредственное чувство негодования, — там и стих его делается поэтичнее; там же, где он, взяв себе в руководители только теорию, смотрит на общество из-за параграфов книг, как в «Еремушке», там он доходит до результатов невообразимо противоречащих ему же самому, так что из них и выхода нет. С другой стороны, плохой тот поэт, у которого истины науки читаются в стихах, как в учебнике. Надеемся, что доказывать не нужно. Каким же образом писатель, который имеет за собой лет двадцать литературной деятельности и, следовательно, не принадлежит к тем юношам, которые пишут диссертации в стихах; писатель, который с летами должен делаться требовательней в художественном отношении, каким образом он может дойти до этих результатов? Что это — упадок творчества или статьи в стихах, писанные для журнала, в угоду массе?

Г. Некрасов постоянно затрагивает предмет, дорогой каждому, — и в этом его сила и все достоинство. Он больше, нежели кто другой из наших поэтов, носит в себе зачатки того лиризма, которому как будто суждено жить в будущем и на который указал нам первый Кольцов. Г. Некрасов действует в духе времени, старается уловить поэзию, идет как будто по следам ее — и не может догнать. Его «Коробейники», его «Крестьянские дети» говорят нам, что предмет, полный жизни, где-то близко, вот, чуть-чуть, и он бы нашел его... а между тем нет! Да, нет того поэтического элемента, которого ищет г. Некрасов. То он с озлоблением набрасывается на этот предмет и говорит, что в нем нет «ни одного человеческого зерна», то в другом месте говорит, что в народе кроются великие, таинственные силы — а какие силы, никто их не видит, и г. Некрасов не предчувствует их как поэт. Вот это дурно... Не в нас ли самих лежит причина того, что мы не видим хорошо окружающий нас мир? Давно бы пора спросить это у себя самого, и тогда, может быть, много излишних проклятий окажется в нашем негодовании! — Вот вопрос, о который суждено было разбиться таланту г. Некрасова там, где он хотел быть поэтом, а не обличителем только. Что делать? Участь эту должен разделить г. Некрасов со многими, поэтами и непоэтами, учеными и литераторами нашего времени.

Этого вопроса уже не раз случалось нам касаться, и всякий раз мы видели в нем большую преграду для дальнейшего художественного развития нашей поэзии. К нему мы пришли и в настоящем случае.

Есть поэты с мирозерцанием широким и узким. Это не подлежит сомнению. Многие, вероятно, думают, что г. Некрасов принадлежит к первым. Он всего касается: политических вопросов, общественных сторон жизни, народа и его верований, интимных сторон сердца человеческого. Чего в самом деле шире? — Но если вы вслушаетесь в тон этих широких взглядов, то увидите, что он очень монотонен. Отрицание, отрицание и отрицание — вот его девиз на всяком пути, точно журнальные статьи, заданные каким-нибудь узеньким направленьцем. Девиз легкий и доступный каждому! Он не требует ровно никаких рассуждений и мирозерцания, точно так же, как безразличная похвала всему существующему — тоже очень легка. Мирозерцание старое, сороковых годов, и мы его не назовем широким. В наше время гораздо труднее отличить годное от негодного, а между тем в этой-то трудности и состоит задача и политических наук, и философии. Поэзия, как высшее чутье народа, должна нам помогать там, где наука колеблется при помощи одного холодного ума. Поэзия должна своим сочувствием согреть те блестящие огоньки, которые поднимаются в наше время над бесконечным пространством нашей жизни. В этом отношении поэт будет и передовой человек...

